

三島由紀夫

Глава первая

НАЧАЛО

Ясуко повадилась приходить в гости к Сюнсукуэ, весело плюхалась на его колени, когда он, развалившись на плетеном кресле, отдыхал в саду. Впрочем, это доставляло ему немалое удовольствие.

Лето 1951 года было в самом разгаре. Сюнсукуэ никого не принимал до полудня. Обычно занимался делами — и то по настроению. Если работа не клеилась, то сочинял письма; или, распорядившись вынести в сад тростниковую кушетку, читал под деревом; или просто коротал время, отложив книгу на колени. Иногда звонил в колокольчик и просил служанку принести чаю. Или, натянув шерстяной плед до подбородка, дремал — если ночью что-то мешало ему выспаться.

И хотя Сюнсукуэ перевалило за шестой десяток, никакими увлечениями из тех, что обычно называют хобби, он не обзавелся за всю свою жизнь. Отчасти потому, что относился к ним скептически. Просто он не ценил личные отношения, которые скрепляются обоюдными увлечениями. Из-за крайней предвзятости, свойственной Сюнсукуэ, душа его пребывала в конвульсивных и несуразных отношениях с окружающим миром. Правда, это благотворно сказалось на его поздних произведениях — от них все еще веяло свежестью и наивностью. Впрочем, за это тоже приходилось рас-

плачиваться. В изображении персонажей его перу недоставало иронии, а также драматизма, вызванного столкновениями сильных характеров. Одним словом, его произведения грешили художественной правдой — вот почему некоторые крайне скупые на похвалы критики до сих пор не решались признать его выдающимся писателем.

Ясуко сидела на вытянутых под пледом ногах Сюнсукэ. Ему стало уже невмоготу. Сюнсукэ хотел как-то отшутиться, но на ум ничего смешного не приходило. Громко звенели цикады, и молчание его казалось еще более глубоким.

Из-за невроза правое колено Сюнсукэ схватывали спазмы. Им всегда предшествовали смутные болезненные ощущения. Мягкая плоть девушки согревала ноги Сюнсукэ, но его старческие и хрупкие коленные чашечки едва ли могли долго выдерживать ее тяжесть. И хотя боль нарастала, он силился изобразить удовольствие, отчего лицо его казалось лукавым. Наконец он не вытерпел:

— Ясуко, пощади колени, а то больно. Дай ногам передохнуть, присядь рядом!

Девушка вдруг стала серьезной, с тревогой посмотрела на Сюнсукэ. Тот рассмеялся. Ясуко бросила на него презрительный взгляд — стареющему писателю он был хорошо знаком. Сюнсукэ привстал и обхватил девушку за плечи. Взял ее за подбородок, запрокинул лицо назад и чмокнул в губы. Он поцеловал ее не из страсти, а будто в одолжение. В этот момент его правое колено пронзила острая боль, и Сюнсукэ снова откинулся на кушетку. Спустя время, когда боль унялась, он приподнял голову и огляделся: Ясуко и след простыл.

Целую неделю от нее не было вестей. В один из дней Сюнсукэ вышел прогуляться и по дороге наве-

дался в дом Ясуко. Оказалось, что вместе со своими школьными друзьями она уехала на полуостров Идзу искупаться в горячих источниках — это где-то на юге побережья. Он записал в блокнот название гостиницы и вернулся домой. Тотчас стал собираться в дорогу. Кипа рукописей на его столе осталась лежать нетронутой. Однако он нашел предлог срочно уйти на летние каникулы.

Чтобы не ехать по жаре, Сюнсуке выбрал ранний поезд. Все равно льняной пиджак уже изрядно промок на его спине. В дороге он попивал из термоса дешевой зеленый чай. От скуки перечитывал пробный экземпляр рекламной брошюры, полученной от сотрудника издательства, — тот пришел на вокзал проводить его. Одной рукой, тонкой и суховатой, он держал проспект, а другую засунул в карман. В этот раз готовилось уже третье собрание сочинений Сюнсукэ Хиноки, первое вышло к его сорокалетию.

«В то время, — размышлял Сюнсукэ, вспоминая прошлое, — когда общественность хором приветствовала мои произведения, провозглашая их чуть ли не образцом большого стиля — в том смысле, что мое творчество приближается к вершинам, как пророчили многие, — мне хватало здравомыслия пренебречь всей этой глупостью. Нет, не глупостью! Никоим образом мои труды, моя душа, мои мысли не имели отношения к глупости. Отнюдь не глупы мои произведения. Конечно, не все безупречно в моих суждениях, но я слишком горд, чтобы искать им оправдания. У меня хватало духа, чтобы мои идеи могли обрести форму, соблюсти чистоту мышления, а это несовместимо со всякими сумасбродными занятиями. Мной, впрочем, двигал не только зов плоти. Моя глупость не имеет никакого отношения ни к духу, ни к вожделению. В чем я был глуп, так это только в том, что погряз в бесперспективных

абстракциях своего ума, которые грозили превратить меня в мизантропа. И сейчас все как прежде. Вот так и дожил до шестидесяти шести лет...»

С горькой усмешкой он всматривался в портрет на обратной стороне брошюрки. Фотография малосимпатичного старика. Впрочем, не составляло труда обнаружить в его лице и привлекательные черты, которые обычно ассоциируются у людей с некими достоинствами, порой сомнительными. У него были широкий лоб и впалые, будто отсеченные щеки; большие сладострастные губы и волевой подбородок, — изнурительная работа духа отпечаталась во всем его облике. Это было лицо, не столько созданное тяготами души, сколько подточенное ими изнутри, как дерево вредителями. Его переполняла духовность, а избыток ее как бы обнажался на стареющем лице писателя, подобно рудным залежам на поверхности земли. Эта уродливость Сюнсукэ как проявление его духовности — с таким безгловым выражением обычно говорят скабрёзности — понуждала людей отводить взгляд, будто они наткнулись на непристойную наготу застигнутого врасплох старика.

Чтобы Сюнсукэ назвать красивым, еще нужно увидеть в этой рыхлой глыбе великолепное сочетание черт лица, подпорченного отравой интеллектуально-гедонизма современности, когда общечеловеческие ценности подменяются эгоистическими устремлениями, из красоты искореняется универсальность, а чувство прекрасного, попранное грубой и наглой силой, отрывается от нравственности, — из всего этого по какой-то самовольной прихоти лепился его образ.

Как бы то ни было, эта фотография самодовольного и непривлекательного старика, стоящего в длинном-предлинном ряду видных деятелей, контрастировала с той, что была помещена в начале брошюры. Эта

клика разноперых, изрядно полысевших интеллектуалов, как стая попугаев, была готова всякий раз по взмаху дирижерской палочки воспевать на все лады демоническую красоту произведений Сюнсукэ. Вот, например, что пишет один из прославленных исследователей творчества Хиноки, собранного в двадцати томах:

«Его многочисленные произведения ошеломили наши сердца словно внезапным ливнем: сначала они покорили искренностью пера, но затем ввергли нас в полное смятение. Господин Хиноки утверждает, что если бы он не обладал даром все подвергать сомнению, то произведения его были бы мертворожденными, — стоило бы тогда выставлять этих мертвецов на обозрение публики? Сюнсукэ Хиноки изображает красоту со знаком „минус“ как явление, обладающее качествами непредсказуемости, нестабильности, злополучия, несчастья, аморальности и мятежности. Безусловно, если определенная историческая эпоха становится фоном повествования, то нельзя игнорировать период декаданса, как нельзя умолчать о разочаровании и апатии, рассказывая любовную историю. Только сильное чувство одиночества, свирепствующее в человеческом сердце, подобно эпидемии в тропическом мегаполисе, обретает под его пером здоровое и яркое воплощение. И кажется, что ревность, страстность, вражда, ненависть нисколько не заботят писателя. Тем не менее он умудряется сказать о сокровенных ценностях жизни значительно больше, когда кровь едва теплится в жилах, чем когда польхают страсти.

Холодность обостряет все органы чувств, вызывая более сильный телесный трепет; безнравственность порождает жестоких поборников нравственности, бездушные провоцирует человека на героический бунт. Каким же мастерски отточенным должен быть стиль

писателя, чтобы связывать парадоксальные явления! Это стиль рококо, стиль старых песен хэйанской эпохи, стиль правдивого искусного слова, стиль пышного одеяния ради самой одежды, а не карнавальных масок. Он диаметрально противоположен стилю наготы. Этот стиль можно сравнить с красивыми складками на одежде богини Нике¹ или на скульптуре богини Фортуны, стоящей на фронтоне Парфенона. Эти ниспадающие, парящие складки на одеянии не просто облегают фигуру согласно ее движению, а как бы сами по себе трепещут и воспаряют в небо...»

Сюнсуке криво ухмылялся, пока читал все это. Он раздраженно пробормотал: «Все не то, не то! Мимо цели! Цветистый панегирик, годный для некролога! И это после двадцати лет знакомства написать такую ахиною!»

Он устремил взгляд в широкое окно вагона второго класса. Вдали синело море. Рыбацкая лодка, расправив парус, уходила в открытый океан. Белая парусина — слабый ветер еле раздувал ее — прильнула к мачте и лениво ласкалась к ней. Вспышка яркого света вырвалась из-под основания мачты. Тотчас электричка врезалась в пронизанный розоватым утренним солнцем сосновый бор, а затем нырнула в темный туннель.

«А что, если это зеркальце, — предположил Сюнсуке. — Видимо, на борту той лодки прихорашивалась рыбацка. У нее руки загорелые и сильные, как у мужчины. Вероятно, она посылала сигналы пассажирам всех проходящих поездов, выдавая свои женские секретки».

¹ *Нике*, Ника — в греческой мифологии персонификация победы. Изображение богини известно по нескольким статуям скульптора Пеония из Менде. Возможно, что речь идет о Нике Самофракийской (ок. 190 г. до н. э.), которая хранится в Париже, в Лувре. — *Здесь и далее примеч. перев.*

В поэтическом воображении Сюнсукэ нарисовалось лицо той женщины-рыбачки. Вдруг в нем стали проявляться черты Ясуко. Стареющий писатель вздрогнул от наваждения.

«Кажется, что ревность, страстность, вражда, ненависть несколько не заботят писателя».

Вранье! Вранье! Вранье!

Одно дело, когда художник подделывает реальность, и совершенно другое дело, когда обманывает обыкновенный бюргер. Ведь писатель, художник прикиривает, чтобы выявить всю полноту правды, а обыватель — чтобы скрыть ее от других.

Сюнсукэ уклонялся от простодушных признаний, считал их ниже своего достоинства, и эта скрытность стала одной из причин для нападков на его недомыслие со стороны тех, кто упивался идеей единства искусства и социологии. Он плевать хотел на их худосочный позитивизм, навязываемый его произведениям, в которых они не видели и проблеска на какое-то светлое будущее — заманчивое, как кордебалет танцовщиц, задирающих юбки и сверкающих ляжками. По сути говоря, все же имелся какой-то изъян в размышлениях Сюнсукэ о жизни и искусстве, что необходимо влекло за собой его интеллектуальное бесплодие.

То, что мы называем мыслью, рождается не до свершившегося события, а после него. Ведь акт, поступок, поведение или действие есть результат случайности и импульсивности, а потому всему требуется оправдание. Тогда на авансцене появляется фигура адвоката: случайности придается закономерность, импульсивность наделяется волей — вот поступок и обретает смысл и логику. Мысль не может заживить раны слепому, который столкнулся с фонарным столбом, но в ее силах свалить всю вину на столб, а не на слепоту самого

бедняги. Все действия превращаются в теорию пост-фактум, только впоследствии складывается целая система. Внутри нее субъект становится уже не более чем *вероятной* фигурой для совершения этих действий. Вот он занят мыслью, шагает по улице и роняет клочки бумаги. Мысли захватывают его все больше, а клочки бумаги летят вдоль дороги. Он, владелец своих мыслей, одержим их силой, которая стремится распространить их через все ограничения, и незаметно превращается в заложника.

Сюнсуке отличал мысль от глупости. А потому судил свою глупость без поблажек. Ее призрак не проникал в произведения Сюнсукэ, но зато по ночам он не давал ему покоя. За его плечами — три неудачные женитьбы, кое-что из этого опыта все же проскользнуло в его романы. В годы молодости этот бывалый парень Сюнсукэ прошел через ряд поражений, совершил цепочку досадных просчетов и проступков.

Стало быть, он не испытал ненависти? Как же! Не вкусил ревности? Это неправда!

Вопреки ненависти, вопреки ревности, наполнявшим жизнь Сюнсукэ, его произведения сохраняли ясность и смирение. После третьей неудачной женитьбы, после бурлеска десятка беспорядочных любовных приключений этот стареющий литератор, измученный тяжелыми разрывами, до отвращения пресытившийся женщинами, никогда не украшал свои романы цветами ненависти, поднимался в них и до смирения, и до высокомерия.

Героини, обитавшие на страницах его многочисленных романов, казались читателям — и мужчинам, и женщинам — слишком чистыми созданиями. Один любопытный критик, занимавшийся сравнительным литературоведением, поместил его героинь в один ряд с эфемерными героинями Эдгара Аллана По — Лигей-

ей, Береникой, Мореллой и маркизой Афродитой. Все эти женщины были созданы не из человеческой плоти, а как будто из мрамора. Их влюбленность быстро улетучивалась, как случайные пятнышки вечернего света на изваяниях. Сюнсуке остерегался наделять своих героинь глубокими чувствами.

Другой критик, кивая на Сюнсукэ, не без насмешки называл его вечный феминизм совершенно очаровательным.

Первая его жена оказалась воровкой. За два года их супружеской жизни она умудрилась украсть и перепродать зимнее пальто, три пары туфель, отрез ткани на два весенних костюма и цейссовскую фотокамеру — просто от скуки. Когда она сбежала из дому, то унесла с собой драгоценности, заранее вшитые в пояс и воротничок нижнего кимоно. Сюнсукэ не обеднел даже после этой кражи.

Вторая его женушка тронулась умом. Она страдала навязчивой идеей, будто муж прикончит ее во сне, из-за этого хронически не высыпалась, психоз ее стал прогрессировать. Однажды на пороге дома Сюнсукэ почувял запах паленого. Жена стояла поперек дверей и не пускала мужа.

— А ну пусти! Что за едкий запах?

— Нет, нельзя сейчас! Я занята делом, очень важным!

— Каким?

— Ты всегда бросаешь меня в одиночестве, шляешься невесть где. Вот я стащила с твоей любовницы кимоно и подпалила его. Как хорошо мне теперь!

Он отпихнул жену. В комнате стоял чад, на персидском ковре валялись пылающие угли. Спокойно и грациозно, придерживая рукава кимоно, жена двинулась к печи, зачерпнула совочком горящие угли и швырнула на ковер. Сюнсукэ испуганно обхватил жену. Она

вроде бы стихла, но потом неистово рванулась из его объятий. Будто плененная хищная птица, бьющая мощными крыльями. Тело женщины напряглось, мышцы затвердели.

Третья его жена оставалась с ним до своей смерти. Эта сексуально ненасытная женщина принесла Сюнсуке немало мужских страданий. По сию пору он помнил свое первое мучение.

В те дни Сюнсуке хорошо писалось, он часто засиживался допоздна. Как-то вечером, около девяти, пошел с женой в спальню. Вскоре оставил ее одну и поднялся в свой кабинет на втором этаже, часов до трех-четырёх утра работал и там же прилег на маленькой кровати. Он строго придерживался своего распорядка, с вечера до десяти утра с женой не виделся.

Однажды поздней ночью, это было летом, у него вдруг возникло острое желание разбудить жену, однако он поборол этот неурочный импульс заняться любовью. В то утро часов до пяти, как бы в наказание себе, он трудился еще более упорно, до полного завершения работы. Его не брал даже сон. Конечно, все это время жена его спала. Он потихоньку спустился по лестнице. Дверь в спальню была открыта. Жена отсутствовала.

Сюнсуке был сражен своей догадкой: «Это случилось всегда! Иначе и не могло быть, при моем-то распорядке. Я должен был это предвидеть! Я должен был этого бояться!»

Однако он совладал со своим волнением. Ведь жена могла выйти в туалет, как обычно, накинув свой черный бархатный халат поверх ночной сорочки. Он стал дожидаться ее. Жена не возвращалась.

В приступе нового беспокойства Сюнсуке направился по коридору в сторону туалета. На кухне, под окном он увидел облаченную в черный халат неподвиж-

ную фигуру своей жены, которая облокотилась на кухонный стол. Еще была предрассветная темень. По ее смутной фигуре он не мог точно определить, сидела ли она на стульчике или преклонила колени. Сюнсуке спрятался за плотной портьерой в коридоре.

Тотчас на заднем дворе скрипнула деревянная калитка. Вслед за тем он услышал низкий мелодичный свист. В это время приносили молоко.

В соседних дворах залаяли собаки. На ногах у молочника были кеды. Он весело скакал по влажным после ночного дождя камням, ощущая через тонкую подошву их холод, тело его распалось от ходьбы, огоренные руки, торчащие из рукавов голубой футболки, стряхивали воду с листьев на кустах аралии. В чистых нотах свиста ощущалась свежесть юношеских губ.

Жена поднялась. Распахнула кухонную дверь. В сумерках нарисовалась темная мужская фигура. Белые зубы, обнаженные в улыбке, и голубая футболка были едва видимы. Влетел утренний ветерок и потрепал кисти занавесок.

— Спасибо, — сказала жена.

Она взяла две бутылки молока. Глухой звон бутылок был разбавлен серебристым звоном ее кольца.

— Госпожа, а подарочек? — сказал юноша с приторным нахальством.

— Сегодня не получится.

— Ну, если не сегодня, так давайте завтра днем.

— И завтра не выйдет!

— Вы обещали раз в десять дней. Или кто другой повадился?

— Тише, не говори громко!

— А послезавтра?

— Послезавтра, говоришь...

Слово «послезавтра» жена Сюнсуке произнесла с важной неспешностью, будто возвращала в шкаф

хрупкую фарфоровую чашку. «Послезавтра вечером у моего мужа намечена беседа за круглым столом».

— В пять часов согдится?

— Хорошо, в пять часов.

Жена отворила дверь. Юноша не сдвинулся с места. Он тихонечко раза три-четыре пробарабанил пальцами по дверному косяку.

— А если сейчас?

— Что ты возомнил себе?! Мой муж на втором этаже. Не выношу таких безмозглых мальчиков.

— Всего один поцелуйчик!

— Не здесь! Еще кто-нибудь заметит.

— Один поцелуй!

— Какой настырный! Так уж и быть, один!

Юноша закрыл за собой дверь и ступил на порог кухни. Она шагнула следом за ним в комнатных тапочках на кроличьем меху.

Они стояли лицом к лицу — как роза с шестом. Ее черный бархатный халат часто-часто приходил в волнообразное движение на спине и бедрах. Руки мужчины развязали поясок. Жена мотнула головой. Между ними произошла немая размолвка. Все это время спиной к Сюнсукэ стояла его жена, а потом спиной повернулся молочник. Сюнсукэ увидел распахнутый халат. Под ним на ней ничего не было. Юноша встал на колени в тесном проеме дверей.

Сюнсукэ никогда еще не приводилось видеть что-нибудь белее наготы своей жены, неподвижно стоящей в предрассветном сумраке. Эта белизна ее тела не казалась застывшей — она перетекала и мерцала. Словно слепой, шарящий руками, жена ощупывала волосы стоящего на коленях юноши.

Сначала глаза ее поблескивали, потом темнели, раскрывались широко и снова прищуривались — на что она таращилась? На эмалированные кастрюли на пол-

ках, на холодильник, на посудный шкаф, на силуэты деревьев за темным окном, на отрывной календарь? Тишина этой кухоньки, сравнимая разве что с интимностью казармы перед побудкой, оживляла глаза этой женщины, и ничего более. Ее взгляд скользнул по шторам: что-то померещилось за ними... Жена отвела взгляд, и притаившийся за шторами Сюнсукэ не встретился с ней глазами.

«Эти глаза с малолетства приучали не смотреть на своего супруга!»

Сюнсукэ вздрогнул от этой мысли. Он чуть было не рванулся вперед, но этот порыв тотчас иссяк. Его распирало от возмущения и желания отомстить.

Вскоре молочник распахнул дверь и вышел из дому. Двор посветлел только слегка, Сюнсукэ на цыпочках поднялся на второй этаж.

У этого писателя, благородного господина, оставался только один способ пережить свои мужские обиды: это дневник, который он однажды стал вести на французском языке, исписывая целые страницы. За рубежом он никогда не бывал, но французским владел вполне и даже переложил на великолепный японский три романа Гюисманса¹: «Собор», «Там, внизу», «В пути», а также роман Роденбаха² «Мертвый Брюгге» — только для того, чтобы набить себе руку. Если этот дневник опубликуют после его смерти, то он может затмить его другие вещи. Все важные элементы, которых так не хватало в его прозе, изобиливали на страницах дневника, а взять и перенести их слово в слово

¹ *Шарль Мари Жорж Гюисманс* (Жорис-Карл) (1848–1907) — французский писатель-символист, автор романа «Наоборот» (1884), известного в России по переводам М. А. Головкиной (1906), И. Карабутенко (1990), Е. Л. Кассировой (1995).

² *Жорж Роденбах* (1855–1898) — бельгийский поэт и писатель-символист.

в художественные произведения — значило бы пойти наперекор авторской позиции: Сюнсуке презирал правду в ее голом виде. В голове его накрепко засело убеждение, что всякий талант, проявляющий сам себя в какой-либо сфере, есть всего-навсего подлог, мошенничество. Все же произведения его страдали нехваткой объективности, а причина коренилась в его творческой установке — он упорно отстаивал субъективистские принципы. Чрезмерная ненависть к голой правде превратила его произведения в некое подобие скульптур, хотя бы и изваянных из плоти и крови.

Вернувшись в кабинет, Сюнсукэ немедленно засел за дневник. Он погрузился в него с головой, описывая мучительные подробности этого тайного свидания на рассвете. Его рука будто намеренно писала неразборчиво, чтобы в другой раз он не смог прочесть ни строчки. Страницы этого дневника и дневников десятилетней давности, которые заполняли книжные полки, буквально пестрели проклятиями в адрес женщины. Если эти проклятия не возымели действия, то по той причине, что они исходили не от женщины, а от мужчины.

В дневнике его много места занимают не столько поденные записи, сколько афоризмы и фрагменты, поэтому легко будет процитировать какой-нибудь художественный отрывок. Вот что он писал в дни своей юности:

«Женщины ничего, кроме детей, не приносят в этот мир. Помимо детей, мужчина может быть творцом разнообразных вещей. Творчество, воспроизведение и размножение — мужские способности. Зачатие у женщины — не более чем часть ее материнской заботы в воспитании ребенка. Это старая истина. (Кстати, Сюнсукэ не завел детей из принципа.)

Женская ревность — это просто ревность к творческому дару. Женщина, которая рождает сына и занимается его воспитанием, наслаждается местью против творческих способностей мужчины. Она оживает, когда препятствует его творческим наклонностям. Страсть к потреблению и роскоши является разрушительной страстью. Женский инстинкт побеждает везде и всюду. Капитализм — исконно мужская теория репродуктивности. Ум женский, однако, подточил его основание. В итоге капитализм превратился в экстравагантную теорию роскоши, и вскоре он докатился до военных баталий — и все благодаря каким-то Еленам. Вероятно, в далеком будущем такая же участь ожидает и коммунизм, и сгубит его женщина.

Где угодно выживет женщина, и царствует она как ночь. Поистине над всем возвышается ее низменная природа. Все ценности она стягивает в болото своей чувственности. Ни одна доктрина не доступна женскому пониманию, абсолютно! Ну, еще какой-нибудь „...тический“ она поймет, а „...изм“ — это уже сверх ее ума. И не только в теории она недалеко. Она не осознает даже самой атмосферы, а все потому, что лишена самобытности. Учуть-то она ее учует. Нюх у нее как у кабанихи. Парфюм — это мужское изобретение, выдуманное для того, чтобы развить женское обоняние. Благодаря этим ароматам мужчине удастся улизнуть от нюха женщины.

Сексуальное очарование женщины со всеми ее уловками только доказывает, что она ни на что не годится. Ведь то, что полезно, не нуждается в кокетстве. Какая тщета, если мужчина стремится быть привлекательным для женщины! Для духа мужчины это оскорбление! Женщина не ведает, что такое дух, она наделена только чувственностью. Ее магическая чувственность питается смехотворными противоречиями — прямо